



В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Петербург и Москва

Предки наши, принужденные в кровавых боях познакомиться с *Божими дворянами*¹ и с берегами Невы, конечно, не воображали, чтоб на этих диких, бедных, низменных и болотистых берегах суждено было возникнуть Российской империи, равно как не воображали они, чтобы Московское царство когда-нибудь сделалось Российской империею. И возможно ли было вообразить что-нибудь подобное? Кто может предугадать явление гения, и может ли толпа предвидеть пути гения, хотя этот гений и есть не что иное, как мысль, разум, дух и воля самой этой толпы с тою только разницею, что все, что таится в ней, как смутное предчувствие, в нем является отчетливым сознанием? В конце XVII века Московское царство представляло собою уже слишком резкий контраст с европейскими государствами, уже не могло более двигаться на ржавых колесах своего азиатского устройства: ему надо было кончиться, но народу русскому надо было жить; ему предлежало великое будущее, и потому из него же самого бог воздвиг ему гения, который должен был сблизить его с Европою. Как все великие люди, Петр явился в пору для России, но во многом не походил он на других великих людей. Его доблести, гигантский рост и гордая, величавая наружность с огромным творческим умом и исполинскою волею — все это так походило на страну, в которой он родился, на народ, который воссоздать был он призван, страну беспредельную, но тогда еще не сплоченную органически, народ великий, но с одним глухим предчувствием своей великой будущности. Поэтому Петр сам должен был создать самого себя и средства для этого самовоспитания найти не в общественных элементах своего отечества, а вне его, и первым пестуном его было — *отрицание*. Совершенные невежды и фанатики обвиняли его в презрении к родной стране, но они обманывались: Петра тесно связывала с Россиею обоим им родное и ничем не

победимое чувство своего великого призвания в будущем. Петр страстно любил эту Русь, которой сам он был представителем по праву высшего, от Бога истекавшего избрания; но в России он видел две страны — ту, которую он застал, и ту, которую он должен был создать: последней принадлежали его мысли, его кровь, его пот, его труд, вся жизнь, все счастье и вся радость его жизни. Ученик Европы, он остался русским в душе, вопреки мнению слабоумных, которых много и теперь², будто бы европеизм из русского человека должен сделать нерусского человека и будто бы, следовательно, все русское может поддерживаться только дикими и невежественными формами азиатского быта. Москва, столица Московского царства, Москва, уже по самому своему положению в центре Руси, не могла соответствовать видам Петра на всеобщую и коренную реформу: ему нужна была столица на берегу моря. Но моря у него не было, потому что берега Северного и Восточного океанов и Каспийское море нисколько не могли способствовать сближению России с Европою. Надо было немедленно завоевать новое море. Два моря мог он иметь в виду для завоевания — Черное и Балтийское. Но для первого ему нужно иметь Малороссию в своем полном подданстве, а не под своим только верховным покровительством, а это совершилось не прежде, как по измене Мазепы. Кроме того, ему нужно было отнять у турков Крым и взять в свое владение обширные степные пустыни, прилегающие к Черному морю, а взять их под владение значило — населить их: труд несвоевременный! и притом к чему бы повел он? Столица на берегу Черного моря сблизила бы Россию не с Европою, а разве с Турциею, и насильственно притянула бы силы России к пункту столь отдаленному, что Россия имела бы тогда свою столицу, так сказать, в чужом государстве. Не такие виды представляла Балтийское море. Прилежащие к нему страны истари знакомы были русскому мечу: много пролилось на них русской крови, и оставить их в чуждом владении, не сделать Балтийского моря границею России значило бы сделать Россию навсегда открытою для неприятельских вторжений и навсегда закрытою для сношений с Европою. Петр слишком хорошо понял это, и война с Швециею *по необходимости* сделалась главным вопросом всей его жизни, главною пружиною всей его деятельности. Ревель и особенно Рига как бы просились сделаться новою столицею России — местом, где русский элемент лицом к лицу столкнулся бы с европейским не для того, чтоб погибнуть в нем, но принять его в себя. Но Ревель и Рига сделались позднее достоянием Петра, который вначале хлопотал не из многого — только из уголка на берегу Балтики, а медлить Петру, в ожида-

нии завоеваний, было некогда: ему надо было торопиться жить, т. е. творить и действовать, — и потому, когда Ревель и Рига сделались русскими городами, город Санкт-Петербург существовал уже семь лет, на него уже было истрачено столько денег, положено столько труда, а по причине Котлина острова и Невы с ее четверным устьем он представлял такое выгодное и обольстительное для ума преобразователя положение, что уже поздно и грустно было бы ему думать о другом месте для новой столицы. Он давно уже смотрел на Петербург, как на свое творение, любил его, как дитя своей творческой мысли; может быть, ему самому не раз казалась трудною и отчаянною эта борьба с дикою, суровою природою, с болотистою почвою, сырым и нездоровым климатом, в краю пустынном, и отдаленном от населенных мест, откуда можно было получать продовольствие, — но непреклонная сила воли надо всем восторжествовала; гений упорен именно потому, что он — гений, и чем тяжелее борьба, охлаждающая слабых, тем больше для него наслаждения развертывать перед миром и самим собою все богатство своих неисчерпаемых сил. Торжественная была минута, когда при осмотре диких берегов Финского залива впервые заронила в душу Великого мысль основать здесь столицу будущей империи. В этой минуте была заключена целая поэма, обширная и грандиозная; только великому поэту можно было разгадать и охватить все богатство ее содержания этими немногими стихами:

*На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел... Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел...*

И думал он:
«Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
*Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море,
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе».*

Петербург строился экспромтом: в месяц делалось то, чего бы стало делать на год. Воля одного человека победила и самую природу. Казалось, сама судьба, вопреки всем расчетам вероятностей, захотела забросить столицу Российской империи в этот неприязненный и враждебный человеку природою и климатом край, где небо бледно-зелено, тощая травка мешается с ползучим вереском, сухим мохом, болотными порослями и серыми кочками, где царствует колючая сосна и печальная ель, и не всегда нарушает их томительное однообразие чахлая береза — это растение севера; где болотистые испарения и разлитая в воздухе сырость проникают в каменные дома и кости человека, где нет ни весны, ни лета, ни зимы, но круглый год свирепствует гнилая и мокрая осень, которая пародирует то весну, то лето, то зиму... Казалось, судьба хотела, чтобы спавший дотоле непробудным сном русский человек кровавым потом и отчаянною борьбою выработал свое будущее, ибо прочны только тяжким трудом одержанные победы, только страданиями и кровию стяжанные завоевания! Может быть, в более благоприятном климате, среди менее враждебной природы, при отсутствии неодолимых препятствий русский человек скоро возгордился бы своими легкими успехами, и его энергия снова заснула бы, не успев даже и проснуться вполне. И для того-то тот, кто послан ему был от Бога, был не только царем и повелителем, действовал не одним авторитетом, но еще более собственным примером, который обезоруживал закоснелое невежество и веками взлелеянную лень:

То академик, то герой,
 То мореплаватель, то плотник,
 Он всеобъемлющей душой
 На троне вечный был работник!

Несмотря на всю деятельность, которой история не представляет подобного примера, Петербург, оставленный Петром Великим, был слишком бедный и ничтожный городок, чтоб о нем можно было говорить, как о чем-то важном. Казалось, этому городку, обязанному своим насильственным существованием воле великого человека, не суждено было пережить своего строителя. Воля одного из его наследников могла осудить его на вечное забвение или на ничтожное чахоточное существование. Но здесь-то и является во всем блеске творческий гений Петра Великого: его планы, его предначертания должны были продолжаться вековечно. Таковы право и сила гения: он кладет камень в основание новому зданию и оставляет его чертеж; преемники дела, может быть, и хотели бы перенести здание на другое место, да негде им

взять такого прочного камня в основание, а камень, положенный гением, так велик, что с человеческими силами нельзя и мечтать сдвинуть его...

Петербург не мог не продолжаться, потому что с его существованием тесно было связано существование Российской империи, сменившей собой Московское царство. И рос Петербург не по дням, а по часам:

Прошло сто лет, — и юный град,
 Полночных стран краса и диво,
 Из тьмы болот, из топи блат
 Вознесся пышно, горделиво.
 Где прежде финский рыболов,
 Печальный пасынок природы,
 Один у низких берегов
 Бросал в неведомые воды
 Свой ветхий невод, ныне там
 По оживленным берегам
 Громады стройные теснятся
 Дворцов и башен; корабли
 Толпой со всех концов земли
 К богатым пристаням стремятся;
 В гранит оделася Нева,
 Мосты повисли над водами,
 Темно-зелеными садами
 Ее покрылись острова;
 И перед младшею столицей
 Главой склонилася Москва,
 Как перед новою царицей
 Порфиноносная вдова.

Таким образом, Россия явилась вдруг с двумя столицами — старую и новую, Москву и Петербургом. Исключительность этого обстоятельства не осталась без последствий, более или менее важных. В то время, как рос и украшался Петербург, по-своему изменялась и Москва. Вследствие неизбежного вторжения в нее европеизма, с одной стороны, и в целости сохранившегося элемента старинной неподвижности, с другой стороны, она вышла каким-то причудливым городом, в котором пестреют и мечутся в глаза перемешанные черты европеизма и азиатизма. Раскинулась и растянулась она на огромное пространство: кажется, куда огромный город! А походите по ней — и вы увидите, что ее обширности много способствуют длинные, предлинные заборы. Огромных зданий в ней нет, самые большие дома не то, чтобы малы, да и не то, чтобы велики; архитектурным достоинством они не щеголяют. В их архитектуру явно вмешался гений древнего Московского царства, который остался верен своему стремлению

к семейному удобству. Стоит час походить по кривым и косым улицам Москвы — и вы тотчас же заметите, что это город патриархальной семейственности: дома стоят особняком, почти при каждом есть довольно обширный двор, поросший травой и окруженный службами. Самый бедный москвич, если он женат, не может обойтись без погреба и при найме квартиры более заботится о погребе, где будут храниться его съестные припасы, нежели о комнатах, где он будет жить. Нередко у самого бедного москвича, если он женат, любимейшая мечта целой его жизни — когда-нибудь перестать *шататься по квартирам* и зажить своим домиком. И вот, с горем пополам, призвав на помощь родное «авось», он покупает или нанимает на известное число лет пустопорожнее место в каком-нибудь захолустье и лет пять, а иногда и десять, строит домишко о трех окнах, покупая материалы то в долг, то по случаю, изворачиваясь так и сяк. И, наконец, наступает вождеденный день переезда в собственный дом, домишко плох, да зато свой и притом с двором, — стало быть, можно и кур водить, и теленка где есть пасти; но главное, при домишке есть погреб — чего же более? Таких домишек в Москве неисчислимо множество, и они-то способствуют ее обширности, если не ее великолепию. Эти домишки попадают даже на лучших улицах Москвы, между лучшими домами, так же, как хорошие (т. е. каменные, в два и три этажа) попадают в самых отдаленных и плохих улицах, между такими домишками. Для русского, который родился и жил безвыездно в Петербурге, Москва так же точно изумительна, как и для иностранца. По дороге в Москву наш петербуржец увидел бы, разумеется, Новгород и Тверь, которые совсем не приготовили бы его к зрелищу Москвы, хотя Новгород и древний город, но от древнего в нем остался только его кремль, весьма невзрачного вида, с Софийским собором, примечательным своею древностью, но ни огромностью, ни изяществом. Улицы в Новгороде не кривы и не узки; многие дома своею архитектурой и даже цветом напоминают Петербург. Тверь тоже не дает нашему петербуржцу идеи о Москве: ее улицы прямые и широки, а для губернского города она довольно красива. Следовательно, въезжая в первый раз в Москву, наш петербуржец въедет в новый для него мир. Тщетно будет он искать главной или лучшей московской улицы, которую мог бы он сравнить с Невским проспектом. Ему покажут Тверскую улицу — и он с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тянущейся улицы, с небольшою площадкою с одной стороны, — улицы, на которой самый огромный и самый красивый дом считался бы в Петербурге весьма скромным со стороны огромности и изящества домом; со стран-

ным чувством увидел бы он, привыкший к прямым линиям, и углам, что один дом выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что делается на ней, а другой отбежал на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности, смотря по его наружности: что между двумя довольно большими каменными домами скромно и уютно поместился ветхий деревянный домишко и, прислонившись боковыми стенами своими к стенам соседних домов, кажется, не нарадуется тому, что они не дают ему упасть и сверх того защищают его от холода и дождя; что подле великолепного модного магазина лепится себе крохотная табачная лавочка или грязная харчевня, или таковая же пивная. И еще более удивился бы наш петербуржец, почувствовав, что в странном гротеске этой улицы есть своя красота. И пошел бы он на Кузнецкий мост: там все то же, за исключением деревянных домишек, зато увидел бы он каменные с модными магазинами, но до того миниатюрные, что ему пришла бы в голову мысль — уже не заехал ли он — новый Гулливер — в царство лилипутов?.. Хотя ни один истинный петербуржец ничему не удивляется и ничем не восторгается, но не удержался бы он от какого-нибудь громко произнесенного междометия, если бы, пройдя круг опоясывающих Москву бульваров — лучшего ее украшения, которому Петербург имеет полное право завидовать, — он, то спускаясь под гору, то подымаясь в гору, видел бы со всех сторон амфитеатры крыш, перемешанных с зеленью садов: будь при этом вместо церквей минареты, он счел бы себя перенесенным в какой-нибудь восточный город, о котором читал в Шахерезаде. И это зрелище ему понравилось бы, и он, по крайней мере, в продолжение весны и лета охотно не стал бы искать столицы и города там, где взамен этого есть такие живописные ландшафты...

Многие улицы в Москве, как-то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, обе линии по сторонам Тверского и Никитского бульваров, состоят преимущественно из «господских» (московское слово!) домов. И тут вы видите больше удобства, чем огромности или изящества. Во всем и на всем печать семейственности: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, широкий двор, а у ворот, в летние вечера, многочисленная дворня. Везде разъединенность, особенность: каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа. Это еще заметнее в Замоскворечье, этой чисто купеческой и мещанской части Москвы: там окна завешаны занавесками, ворота на запор, при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво или, лучше сказать, сонно, дом или домишко похож на кре-

постицу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду. Везде семейство и почти нигде не видно города!..

В Москве много трактиров, и они всегда битком набиты преимущественно тем народом, который в них только пьет чай. Не нужно объяснять, о каком народе говорим мы: это народ, выпивающий в день по пятнадцати самоваров, народ, который не может жить без чаю, который пять раз пьет его дома и столько же раз в трактирах. И если бы вы посмотрели на этот народ, вы не удивились бы, что чай не расстроивает ему нерв, не мешает спать, не портит зубов, вы подумали бы, что он безнаказанно для здоровья может пудами употреблять опиум... Кондитерских в Москве мало; в них покупают много, но посещают их мало. Гостиницы в Москве существуют преимущественно для приезжающих или для холостой молодежи, любящей кутнуть. Обедают в Москве больше дома. Там даже бедные холостые люди по большей части любят обедать у себя дома, верные семейственному характеру Москвы. Если же они обедают вне дома, то в каком-нибудь знакомом им семействе, особенно *у родных*. Вообще, Москва, славная своим хлебосольством и гостеприимством, чуждается жизни городской, общественной и любит обедать у себя дома, *семейно*. Славится своими сытными обедами Английский клуб в Москве; но попробуйте в нем пообедать — и, несмотря на то, что вы будете сидеть между пятьюстами или более человек, вам непременно покажется, что вы пообедали у родных. Что же касается до постоянных членов клуба, они потому и любят в нем обедать, что им кажется, будто они обедают у себя дома, в своем семействе. Характер семейственности лежит на всем и во всем московском!

Родство даже до сих пор играет великую роль в Москве. Там никто не живет без родни. Если вы родились бобылем и приехали жить в Москву — вас сейчас женят, и у вас будет огромное родство до семьдесят седьмого колена. Не любить и не уважать родни в Москве считается хуже, чем вольнодумством. Вы обязаны будете знать день рождения и именин по крайней мере полтора человека, и горе вам, если вы забудете поздравить хоть одного из них. Это немножко хлопотно и скучно, но ведь зато родство — священная вещь. Где развита в такой степени семейственность, там родство не может не быть в великом почете.

По смерти Петра Великого Москва сделалась убежищем опальных дворян высшего разряда и местом отдохновения удалившихся от дел вельмож. Вследствие этого она получила какой-то аристократический характер, который особенно развился в царствование Екатерины Второй. Кто не слышал о широкой, рас-

пашной жизни вельмож в Москве? Кто не слышал рассказов о том, как в своих великолепных палатах ежедневно угощали они столом и званого и незваного, и знакомого и незнакомого, и в городе, и в деревне, где для всех отворяли свои пышные сады? Кто не слышал рассказов о их пирах — рассказов, похожих на отрывки из «Тысячи и одной ночи»? Видите ли, что Москва и тут осталась верна своему древнемосковитскому элементу: чванство и чивость³, распашная и потешная жизнь в ней нашли свой уют! Но с предшествовавшего царствования Москва мало-помалу начала делаться городом торговым, промышленным и мануфактурным. Она одевает всю Россию своими бумажнопрядильными изделиями, ее отдаленные части, ее окрестности и ее уезд — все это усеяно фабриками и заводами, большими и малыми. И в этом отношении не Петербургу тягаться с нею, потому что самое ее положение почти в середине России назначило ей быть центром внутренней промышленности. И то ли будет она в этом отношении, когда железная дорога соединит ее с Петербургом и, как артерии от сердца, потянутся от нее шоссе в Ярославль, в Казань, в Воронеж, в Харьков, в Киев и Одессу...⁴

Москва гордится своими историческими древностями, памятниками, она — сама историческая древность и во внешнем, и во внутреннем отношении! Но как она сама, так и ее допетровские древности представляют странное зрелище смеси с новым: от Кремля едва остался один чертеж, потому что его ежегодно поправляют; а в нем возникают новые здания. Дух нового веет и на Москву и стирает мало-помалу ее древний отпечаток.

Мы начали о Петербурге, а распространились о Москве, но это совсем не отступление от главного предмета. У нас две столицы: как же говорить об одной, не сравнивая ее с другою? Только через такое сравнение можем мы узнать особенности и характер каждой из них. Ничто в мире не существует напрасно: если у нас две столицы — значит, каждая из них необходима, а необходимость может заключаться только в *идее*, которую выражает каждая из них. И потому Петербург представляет собой идею, Москва — другую. В чем состоит идея того и другого города, это можете узнать, только проведя параллель между тем и другим. И потому мы не раз еще, говоря о Петербурге, будем обращаться к Москве. Пока мы нашли, что отличительный характер Москвы — семейственность. Обратимся к Петербургу.

О Петербурге привыкли думать, как о городе, построенном даже не на болоте, а чуть ли не на воздухе. Многие не шутя уверяют, что это город без исторической святыни, без преданий, без связи с родною страной, город, построенный на сваях и на рас-

чете⁵. Все эти мнения немного уж устарели, и их пора бы оставить. Правда, коли хотите, в них есть своя сторона истины, но зато много и лжи. Петербург построен Петром Великим, как столица новой Российской империи, и Петербург — город неисторический, без предания!.. Это нелепость, не стоящая опровержения! Вся беда вышла из того, что Петербург слишком молод для самого себя и совершенное дитя в сравнении с старушкою Москвою. Так неужели молодой человек, ознаменовавший свое вступление в жизнь великим подвигом, — не исторический человек, потому что он мало жил, а старичок какой-нибудь — исторический человек, потому что он много жил? Не только много жила, но и много испытала древняя Москва, столица Московского царства, у ней есть своя история — никто не спорит против этого, но что же вся ее история в сравнении с великим эпосом биографии Петра Великого? А не тесно ли связан Петербург с этою биографиею? Отвергать историческую важность Петербурга не значит ли не уметь ценить Петра для русской истории? Говоря об исторической святине, спрашивают: где у Петербурга эти памятники, над которыми пролетели века, не разрушив их? Да, милостивые государи, таких памятников в Петербурге нет и быть не может, потому что сам он существует со дня своего заложения только *сто сорок один год*, но зато он сам есть великий исторический памятник. Всюду видите вы в нем живые следы его строителя, и для многих (и в том числе и для нас) такие маленькие строения, как, например, домик на Петербургской стороне, дворец в Летнем саду, дворец в Петергофе, стоят не одного, а многих Кремлей... Что делать — у всякого свой вкус! Петербург построен на расчете — правда; но чем же расчет ниже слепого случая? Мудрые века говорят, что железный гвоздь, сделанный грубою рукою деревенского кузнеца, выше всякого цветка, с такою красотою рожденного природою, — выше его в том отношении, что он — произведение *сознательного* духа, а цветок есть произведение *непосредственной* силы. Расчет есть одна из сторон сознания. Говорят еще, что Петербург не имеет в себе ничего оригинального, самобытного, что он есть какое-то будто бы общее воплощение идеи столичного города и, как две капли воды, в похож на все столичные города в мире. Но на какие же именно? На старые, каковы, например, Рим, Париж, Лондон, он походить никак не может; стало быть, это суцая неправда. Если он похож на какие-нибудь города, то, вероятно, на большие города Северной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на расчете. И разве в этих городах нет своего, оригинального? Разве в стенах города и в каждом камне его видеть *будущее* не

значит — видеть что-то оригинальное и притом прекрасно оригинальное? Но Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великого была только великою историческую ошибкою, или Петербург имеет необъятно великое значение для России. Что-нибудь одно: или новое образование России, как ложное и призрачное, скоро исчезнет совсем, не оставив по себе и следа; или Россия навсегда и безвозвратно оторвана от своего прошедшего. В первом случае, разумеется, Петербург — случайное и эфемерное порождение эпохи, принявшей ошибочное направление, гриб, который в одну ночь вырос и в один день высох; во втором случае Петербург есть необходимое и вековечное явление, величественный и крепкий дуб, который сосредоточит в себе все жизненные соки России. Некоторые доморожденные политики, считающие себя удивительно глубокомысленными, думают, что так как-де Петербург явился не непосредственно, вырос и расширился не веками, а обязан своим существованием воле одного человека, то другой человек, имеющий власть свыше, также может оставить его, выстроить себе новый город на другом конце России: мнение крайне детское! Такие дела не так легко затеваются и исполняются. Был человек, который имел не только власть, но и силу сотворить чудо, и был миг, когда эта сила могла проявляться в таком чуде, — и потому для нового чуда в этом роде потребуются опять два условия: не только человек, но и мир. Произвол не производит ничего великого: великое исходит из разумной необходимости, следовательно, от Бога. Произвол не состроит в короткое время великого города, произвол может выстроить разве только *вавилонскую башню*, следствием которой будет не возрождение страны к великому будущему, а *разделение* языков. Гораздо легче сказать — оставить Петербург, чем сделать это: язык без костей, по русской пословице, и может говорить, что ему угодно, но дело не то, что пустое олово. Только господам *Маниловым* легко строить в своей праздной фантазии мосты через пруды, с лавками по обеим отгонам.

Иностранец Альгаротти сказал: «Петербург есть окно, через которое Россия смотрит на Европу»⁶, — счастливое выражение, в немногих словах удачно схватившее великую мысль! И вот в чем заключается твердое основание Петербурга, а не в сваях, на которых он построен и с которых его не так-то легко сдвинуть! Вот в чем его идея и, следовательно, его великое значение, его святое право на вековечное существование! Говорят, что Пе-

тербург выражает собою только внешний европеизм. Положим, что и так, но при развитии России, совершенно противоположном европейскому, т. е. при развитии сверху вниз, а не снизу вверх, *внешность* имеет гораздо высшее значение, большую важность, нежели как думают. Что вы видите в поэзии Ломоносова? — Одну внешность, русские слова, втиснутые в латинско-немецкую конструкцию; выписные мысли, каких и признака не было в обществе, среди которого и для которого писал Ломоносов свои риторические стихи! И, однако ж, Ломоносова не без основания называют отцом русской поэзии, которая тоже не без основания гордится, например, хоть таким поэтом, как Пушкин. Нужно ли доказывать, что если бы у нас не было *заведено* этой мертвой, подражательной, чисто внешней поэзии, то не родилась бы у нас живая, оригинальная и самобытная поэзия Пушкина? Нет, это и без доказательств ясно, как день Божий. Итак, иногда и *внешность* чего-нибудь да стоит. Скажем более, внешнее иногда влечет за собою внутреннее. Положим, что надеть фрак или сюртук, вместо овчинного тулупа, синего армяка или смурого кафтана⁷, еще не значит сделаться европейцем, но отчего же у нас, в России, и учатся чему-нибудь, и занимаются чтением, и обнаруживают любовь и вкус к изящным искусствам только люди, одевающиеся по-европейски? Что ни говорите, а даже фрак с сюртуком — предметы, кажется, совершенно *внешние*, не мало действуют на *внутреннее* благообразие человека. Петр Великий это понимал, и отсюда это гонение на бороды, охабни, *терлики*, *шапки-мурmolки* и все другие заветные принадлежности московитского туалета.

Есть мудрые люди, которые презирают всем внешним; им давай *идею*, *любовь*, *дух*, а не факты, на мир практический, на будничную сторону жизни они не хотят и смотреть. Есть другие мудрые люди, которые, кроме фактов и дела, ни о чем знать не хотят, а в *идее* и *духе* видят одни мечты. Первые из них за особую честь поставляют себе слушать с презрительным видом, когда при них говорят о железной дороге. Эти средства к возвышению нравственного достоинства страны им кажутся и ложными, и ничтожными; они всего ждут от чуда и думают, что образование в одно прекрасное утро свалится прямо с неба, а народ возьмет на себя труд только поднять его да проглотить не жевавши. Мудрецы этого разряда давно уже ославлены именем *романтиков*. Мудрецы второго разряда спят и видят шоссе, железные дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разных спекуляций: в этом их идеал народного и государственного блажества; дух, идея в их глазах — вредные или бесполезные мечты. Это

классики нашего времени⁸. Не принадлежа ни к тем ни к другим, мы в последних видим хоть что-нибудь, тогда как в первых — виноваты — ровно ничего не видим. Есть два способа проводить новый источник жизни в застоявшийся организм общественного тела: первый — наука, или учение, книгопечатание, в обширном значении этого слова, как средство к распространению идей; второй — жизнь, разумея под этим словом формы обыкновенной, ежедневной жизни, нравы, обычаи. Тот и другой способ равно важны, и последний едва ли еще не важнее в том отношении, что и само чтение, и сама идея тогда только важны и действительны, когда входят в жизнь, становятся, так сказать, обычаем или обыкновением. Нет ничего сильнее и крепче обычая: гораздо легче убедить людей логикой в какой угодно истине, нежели преклонить их к практическому применению этой истины, если в этом мешает им обычай. Нам кажется, что на долю Петербурга преимущественно выпал этот второй способ распространения и утверждения европеизма в русском обществе. Петербург есть образец для всей России во всем, что касается до форм жизни, начиная от моды до светского тона, от манеры класть кирпичи до высших таинств архитектурного искусства, от типографского изящества до журналов, исключительно владеющих вниманием публики. Сравните петербургскую жизнь с московской — и в их различии или, лучше сказать, в их противоположности вы сейчас увидите значение того и другого города. Несмотря на узкость московских улиц, снабженных тротуарами в пол-аршина шириною, они только днем бывают тесны, и то далеко не все, и притом больше по причине их узкости, чем по многолюдству. С десяти часов вечера Москва уже пустеет, и особенно зимою скучны и пустынные эти кривые улицы с еще более кривыми переулками. Широкие улицы Петербурга почти всегда оживлены народом, который куда-то спешит, куда-то торопится. На них до двенадцати часов довольнолюдно, и до утра везде попадаются то там то сям запоздалые. Кондитерские полны народом; немцы, французы и другие иностранцы, туземные и заезжие, пьют, едят и читают газеты; русские больше пьют и едят, а некоторые пробегают «Пчелу», «Инвалида» и иногда пристально читают толстые журналы, переплетенные для удобства в особенные книжки, по отделам: это охотники до литературы, охотников до политики у нас вообще мало. Рестораны всегда полны, кухмистерские заведения тоже. Тут то же самое: пьют, едят, читают, курят, играют на бильярде, и все большею частью молча. Если и говорят, то тихо, и то сосед с соседом, зато часто случается слышать прегромкие голоса, которые нисколько не же-

нируются говорить о предметах, нисколько для не посторонних не интересных, например, о том, как Иван Семенович вчера остался без двух, играя семь в червях, или о том, что Петр Николаевич получил место, а Василий Степанович произведен в следующий чин, и тому подобных литературных и политических новостях. Дома в Петербурге, как известно, огромные. Петербуржец о погребе не заботится: если не женат, он обедает в трактире; женатый, он все берет из лавочки. Дом, где нанимает он квартиру, сущий Ноев ковчег, в котором можно найти по паре всяких животных. Редко случается узнать петербуржцу, кто живет возле него, потому что и сверху, и снизу, и с боков его живут люди, которые так же, как и он, заняты своим делом и так же не имеют времени узнавать о нем, как и он о них. Главное удобство в квартире, за которым гонится петербуржец, состоит в том, чтобы ко всему быть поближе — и к месту своей службы, и к месту, где все можно достать и лучше и дешевле. Последнего удобства он часто достигает в своем Ноевом ковчеге, где есть и погребок, и кондитерская, и кухмистер, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свете. Идея города больше всего заключается в сплошной сосредоточенности всех удобств в наиболее сжатом круге: в этом отношении Петербург несравненно больше город, чем Москва, и, может быть, один город во всей России, где все разбросано, разъединено, запечатлено семейственностью. Если в Петербурге нет публичности в истинном значении этого слова, зато уж нет и домашнего или семейственного затворничества: Петербург любит улицу, гулянье, театр, кофейню, воксал, словом, любит все общественные заведения. Этого пока еще немного, но зато из этого может многое выйти впереди. Петербург не может жить без газет, без афиш и разного рода объявлений; Петербург давно уже привык, как к необходимости, к «Полицейской газете», к городской почте. Едва проснувшись, петербуржец хочет тотчас же знать, что дается сегодня на театрах, нет ли концерта, скачки, гулянья, с музыкою, словом, хочет знать все, что составляет сферу его удовольствий и рассеяний, — а для этого ему стоит только протянуть руку к столу, если он получает все эти известительные издания, или забежать в первую попавшуюся кондитерскую. В Москве многие подписчики на «Московские ведомости», выходящие три раза в неделю (по вторникам, четверткам и субботам), посылают за ними только по субботам и получают вдруг три нумера. Оно и удобно: под праздник есть свободное время заняться новостями всего мира... Кроме того, по неимению городской почты и рассыльных, надо посылать своего человека в контору университетской типографии, а это не для всяко-

го удобно и не для всех даже возможно. Для петербуржца заглянуть каждый день в «Пчелу» или «Инвалид» — такая же необходимость, такой же *обычай*, как напиток поутру чаю... В противоположность Москве, огромные дома в Петербурге днем не затворяются и доступны и через ворота, и через двери; ночью у ворот всегда можно найти дворника или вызвать его звонком, следовательно, всегда можно попасть в дом, в который вам непременно нужно попасть. У дверей каждой квартиры видна ручка звонка, а на многих дверях не только номер, но и медная или железная дощечка с именем занимающего квартиру. Хотя в Москве улицы не длинные, каждая носит особенное название и почти в каждой есть церковь, а иногда еще и не одна, почему легко бы, казалось, отыскать кого нужно, если знаешь адрес; однако ж отыскивать там — истинное мучение, если в доме есть не один жилец. Обыкновенно, входите вы там на довольно большой двор, на котором, кроме собаки или собак, ни одного живого существа; спросить некого, надо стучаться в двери с вопросом: не здесь ли живет такой-то, потому что в Москве дворники редки, а звонки еще и того реже. Нет никакой возможности ходить по московским улицам, которые узки, кривы и наполнены проезжающими. Надо быть москвичом, чтобы уметь смело ходить по ним так же, как надо быть парижанином, чтобы, ходя по Парижу, не пачкаться на его грязных улицах. Впрочем, сами москвичи ходить не любят; оттого извозчикам в Москве много работы. Извозчики там дешевы, но на плохих дрожках и прескверных санях; дрожки везде скверны по самому их устройству; это просто орудие пытки для допроса обвиненных; но саней плохих в Петербурге не бывает: здесь самые скверные санишки сделаны на манер будто бы хороших, и покрыты полостью из теленка, но похожего на медведя, а полость покрыта чем-то вроде сукна. В Петербурге никто не сел бы на сани без медведя!.. Впрочем, в Петербурге мало ездят; больше ходят: оно и здорово, ибо движение есть лучшее и притом самое дешевое средство против геморроя, да притом же в Петербурге удобно ходить: гор и косогоров нет, все ровно и гладко, тротуары из плитняка, а инде и из гранита, широкие, ровные и во всякое время года чистые, как полы.

Чтобы ближе познакомиться с обеими нашими столицами, сравним между собою их народонаселение.

Высшее сословие, или высший круг общества, во всех городах в мире составляет собою нечто исключительное. Большой свет в Петербурге еще более, чем где-нибудь, есть истинная terra

incognita * для всех, кто не пользуется в нем правом гражданства; это город в городе, государство в государстве. Не посвященные в его таинства смотрят на него издали, на почтительном расстоянии, смотрят на него с завистью и томлением, с каким путник, заблудившийся в песчаной степи Аравии, смотрит на мираж, представляющийся ему цветущим оазисом; но недоступный для них рай большого света, стерегомый булавою швейцара и толпою официантов, разодетых маркизами XVIII века, даже и не смотрит на этих чающих для себя движения райской воды⁹. Люди различных слоев среднего сословия, от высшего до низшего, с напряженным вниманием прислушиваются к отдаленному и непонятному для них гулу большого света и по-своему толкуют долетающие до них отрывистые слова и речи, с упоением пересказывают друг другу доходящие до их ушей анекдоты, искаженные их простодушием. Словом, они так заботятся о большом свете, как будто без него не могут дышать. Не довольствуясь этим, они изо всех и сил бьются, бедные, передразнивать быт большого света и — *à force de forget* ** — достигают до сладостной самоуверенности, что и они — тоже большой свет. Конечно, настоящий большой свет очень бы добродушно рассмеялся, если б узнал об этих бесчисленных претендентах на близкое родство с ним; но от этого тем не менее страсть считать себя принадлежащим или прикосновенным к большому свету доходит в средних сословиях Петербурга до иступления. Поэтому в Петербурге счету нет различным кругам «большого света». Все они отличаются со стороны высшего к низшему — величаво или лукаво насмешливым взглядом; а со стороны низшего к высшему — досадою обиженного самолюбия, впрочем, утешающего себя тем, что и мы-де не отстанем от других и постоим за себя в хорошем тоне. Хороший тон — это точка помешательства для петербургского жителя. Последний чиновник, получающий не более семисот рублей жалованья, ради хорошего тона отпускает при случае искаженную французскую фразу — единственную, какую удалось ему затвердить из «Самоучителя»; из хорошего тона он одевается всегда у порядочного портного и носит на руках хотя и засаленные, но желтые перчатки. Девушки даже низших классов ужасно любят вернуть в безграмотной русской записке безграмотную французскую фразу, — и если вам понадобится писать к такой девушке, то ничем вы ей так не польстите, как смешением нижегородского с французским: этим вы ей покажете, что

* неведомая земля (лат.). — *Ред.*

** с помощью воображения (фр.). — *Ред.*

считаете ее девицею образованною и «хорошего тона». Любят они также и стишки, особенно из водевильных куплетов; но некоторые возвышаются своим вкусом даже до поэзии г. Бенедиктова¹⁰ — и это девицы самых аристократических, самых бонтонных кругов чиновнического сословия. Видите ли: Петербург во всем себе верен: он стремится к высшей форме общественного быта... Не такова в этом отношении Москва. В ней даже большой свет имеет свой особенный характер. Но кто не принадлежит к нему, тот о нем и не заботится, будучи весь погружен в сферу собственного сословия.

Ядро коренного московского народонаселения составляет купечество. Девять десятых этого многочисленного сословия носят православную, от предков завещанную бороду, длиннополый сюртук синего сукна и ботфорты с кисточкою, скрывающие в себе оконечности плисовых или суконных брюк; одна десятая позволяет себе брить бороду и, по одежде, по образу жизни, вообще по *внешности*, походит на разночинцев и даже дворян средней руки. Сколько старинных вельможеских домов перешло теперь в собственность купечества! И вообще, эти огромные здания, памятники уже отживших свой век нравов и обычаев, почти все без исключения превратились или в казенные учебные заведения, или, как мы уже сказали, поступили в собственность богатого купечества. Как расположилось и как живет в этих палатах и дворцах «поштенное» купечество, — об этом любопытные могут справиться, между прочим, в повести г. Вельтмана «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице». Но не в одних княжеских и графских палатах, — хороши также эти купцы и в дорогих каретах и колясках, которые вихрем несутся на превосходных лошадях, блистающих самую дорогою сбруею: в экипаже сидит «поштенная» и весьма довольная собою борода; возле нее помещается плотная и объемистая масса ее дражайшей половины, разбеленная, разрумяненная, обремененная жемчугами, иногда с платком на голове и с косичками от висков, но, чаще, в шляпке с перьями (прекрасный пол даже и в купечестве далеко обогнал мужчин на пути европеизма!), а на запятках стоит сиделец в длиннополом жидовском сюртуке, в рыжих сапогах с кисточками, пуховой шляпе и в зеленых перчатках... Проходящие мимо купцы средней руки и мещане с удовольствием пощелкивают языком, смотря на лихих коней, и гордо приговаривают: «Вишь, как наши-то!», а дворяне, смотря из окон, с досадою думают: «Мужик проклятый — развалился, как и бог знает что!..» Для русского купца, особенно москвича, толстая, статистая лошадь и толстая, статистая жена — первые блага в жизни...

В Москве повсюду встречаете вы купцов, и все показывает вам, что Москва по преимуществу город купеческого сословия. Ими населен Китай-город, они исключительно завладели Замоскворечьем, и ими же кишат даже самые аристократические улицы и места в Москве, каковы — Тверская, Тверской бульвар, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другие улицы. Базисом этому многочисленному сословию в Москве служит еще многочисленнейшее сословие: это — мещанство, которое создало себе какой-то особенный костюм из национально-русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и опошлены и русский и иностранный типы головной мужской одежды; выростковые сапоги, в которых прячутся нанковые или суконные штанишки; сверху что-то среднее между долгополым жидовским сюртуком и кучерским кафтаном; красная александрийская или ситцевая рубаша с косым воротом, а на шее грязный пестрый платок. Прекрасная половина этого сословия представляет своим костюмом такое же дикое смешение русской одежды с европейскою: мещанки ходят большею частию (кроме уж самых бедных) в платьях и шалях порядочных женщин, а волосы прячут под шапочку, сделанную из цветного шелкового платка; белила, румяна и сурьма составляют неотъемлемую часть их самих, точно так же, как стеклянные глаза, безжизненное лицо и черные зубы. Это мещанство есть везде, где только есть русский город, даже большое торговое село. Тип этого мещанства вполне постиг петербургский актер, г. Григорьев 2-й¹¹, — и этому-то типу обязан он своим необыкновенным успехом на Александрийском театре.

Но в Москве есть еще другого рода среднее сословие — образованное среднее сословие. Мы не считаем за нужное объяснять нашим читателям, что мы разумеем вообще под образованными сословиями: кому не известно, что у нас, в России, есть резкая черта, которая отделяет необразованные сословия от образованных и которая заключается, во-первых, в костюмах и обычаях, обнаруживающих решительное притязание на европеизм; во-вторых, в любви к преферансу; в-третьих, в большем или меньшем занятии чтением. Касательно последнего пункта можно сказать с достоверностию, что кто читает постоянно хоть «Московские ведомости», тот уже принадлежит к образованному сословию, если, кроме того, он в одежде и обычаях придерживается западного типа. К числу необходимых отличий «образованного» человека от «необразованного» у нас полагается и чин, хотя с некоторого времени и у нас уже начинают убеждаться, что и без чина

также можно быть образованным человеком, как и невеждою с чином. Впрочем, подобное мнение нисколько не проникло в низшие классы общества, — и миллионер-купец, поглаживая свою бородку, смело претендует на ум (благо плутоват и мастер надуть и недруга и друга), но никогда на образованность. Различий и степеней между «образованными» людьми у нас множество. Одни из них читают только деловые бумаги и письма, до них лично касающиеся, да еще календари и «Московские ведомости»; некоторые идут далее — и постоянно читают «Северную пчелу»; есть такие, которые читают решительно все русские журналы, газеты, книги и брошюры и не читают ничего иностранного, даже зная какой-нибудь иностранный язык; наконец, есть такие *ésprits-forts* *, которые очень много читают на иностранных языках и решительно ничего на своем родном; но «образованнейшими» должно почитать без сомнения, тех немногих у нас людей, которые, *иногда* заглядывая в русские журналы, постоянно читают иностранные, изредка прочитывая русские книги (благо хороших-то из них очень мало), часто читают иностранные книги. Но еще многочисленнее оттенки нашей образованности в отношении к одежде, обычаям и картам. Есть у нас люди, которые европейскую одежду носят только официально, но у себя дома, без гостей, постоянно пребывают в тверских халатах, сафьянных сапогах и разного рода ермолках; некоторые халату предпочитают ухарский архалух — щегольство провинциальных лакеев; другие, напротив, и дома остаются верны европейскому типу и ходят в пальто, в котором могут, без нарушения приличия, принимать визиты запросто; одни следуют постоянно моде, другие увлекаются венгерками, казачьими шароварами и тому подобными удалыми, залихватскими и ухарскими изобретениями провинциального изящного вкуса. В образе жизни главный оттенок различий состоит в том, что одни поздно встают, обедают никак не раньше четырех часов, вечером пьют чай никак не ранее десяти часов, и чем позже ложатся спать, тем лучше; а другие в этом отношении больше придерживаются старины. В обращении оттенки нашего общества так бесчисленны, что нет никакой возможности и говорить о них. Но в этом отношении все оттенки, от самого высшего до самого низшего, имеют в себе то общее, что все равно верны внешности, которая не обязывает ни к чему внутреннему: это та же одежда. В отношении к картам есть только три различия: одни играют только в преферанс; другие — только в банк и в палки; третьи —

* умники (фр.). — Ред.

и в преферанс, и в банк, и в палки. Различие кушей подразумевается само собою. В Петербурге в преферанс играют по мастям и на семь не прикупают; в Москве и провинции прикупают и на десять, без различия мастей. Образованный класс в Москве довольно многочислен и чрезвычайно разнообразен. Несмотря на то, все москвичи очень похожи друг на друга; к ним всегда будет идти эта характеристика, сделанная знаменитейшим москвичом Фамусовым:

От головы до пяток
На всех московских есть особый отпечаток.

Москвичи — люди нараспашку, истинные афиняне, только на русско-московский лад. Они любят пожить и, в их смысле, действительно хорошо живут. Кто не слышал о московском английском клубе и его сытных обедах? Кроме английского и немецкого клубов, теперь в Москве есть еще — дворянский. Кто не слышал о московском хлебосольстве, гостеприимстве и радушии? В каком другом городе в мире можете вы с таким удобством и жениться, и пообедать, как в Москве?.. Где, кроме Москвы, вы можете и служить, и торговать, и сочинять романы, и издавать журналы не для чего иного, как только для собственного развлечения, для отдыха? Где лучше можете вы отдохнуть и поправить свое здоровье, как не в Москве? Где, если не в Москве, можете вы много говорить о своих трудах, настоящих и будущих, прослыть за деятельнейшего человека в мире — и в то же время ровно ничего не делать? Где, кроме Москвы, можете вы быть довольнее тем, что вы ничего не делаете, а время проводите приятно? Оттого-то в Москве так много заезжего праздного народа, который собирается туда из провинции жуировать, кутить, веселиться, жениться. Оттого-то там так много халатов, венгерок, штатских панталон с лампасами и таких невиданных сюртуков с шнурами, которые появившись на Невском проспекте, заставили бы смотреть на себя с ужасом все народонаселение Петербурга. В Москве есть, говорят, даже *шапки-мурмолки*, вроде той, которую, по уверению москвичей, носил еще Рюрик. Оттого-то, наконец, в Москве только может процветать цыганский хор Ильюшки. Лицо москвича никогда не озабочено: оно добродушно и откровенно и смотрит так, как будто хочет вам сказать: «А где вы сегодня обедаете?» Кто хоть сколько-нибудь знает Москву, тот не может не знать, что, кроме английского комфорта, есть еще и московский комфорт, иначе называемый «жизнью нараспашку». Москвичи так резко отличаются от всех немосквичей, что, например, московский барин, московская барыня,

московская барышня, московский поэт, московский мыслитель, московский литератор, московский архивный юноша: все это — типы, все это — слова технические, решительно непонятные для тех, кто не живет в Москве. Это происходит от исключительно-го положения Москвы, в которое постановила ее реформа Петра Великого. Москва одна соединила в себе тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва — город промышленный. В Москве находится не только старейший, но и лучший русский университет, привлекающий в нее свежую молодежь из всех концов России. Хотя значительная часть воспитанников этого университета по окончании курса оставляет Москву, чтоб хоть что-нибудь делать на этом свете, но все же из них довольно остается и в Москве. Эти остающиеся, вместе с учащимися, составляют собой особенное среднее сословие, в котором находятся люди всех сословий. Их соединяет и подводит под общий уровень образование или, по крайней мере, стремление к образованию. Среднее сословие такого рода — оазис на песчаном грунте всех других сословий. Такие оазисы находятся во многих, если не во всех, русских городах. В ином городе такой оазис состоит из пяти, в ином из двух, в ином и из одной только души, а в некоторых городах и совсем нет таких оазисов — все чистый песок или чистый чернозем, поросший бурьяном и крапивою. К особенной чести Москвы, никак нельзя не согласиться, что в ней таких оазисов едва ли не больше, чем в каком-нибудь другом русском городе. Это происходит от двух причин: во-первых, от исключительного положения Москвы, чуждой всякого административного, бюрократического и официального характера, ее значения и столицы и вместе огромного губернского города; во-вторых, от влияния Московского университета. Оттого в деле вопросов, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше простора, знания, вкуса, такта, образованности, чем у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Это, повторяем, лучшая сторона московского быта. Но на свете все так чудно устроено, что самое лучшее дело непременно должно иметь свою слабую сторону. Что нет в мире народа учение немцев, — это известно всякому: сами москвичи, по науке, не годятся немцам — в ученики. Но зато и у немцев есть та слабая сторона, что они до тридцати лет бывают *бурами*, а остальную — и большую — половину жизни — *филистерами* и поэтому не имеют времени быть *людьми*. Так и в Москве: люди, поставившие образованность целью своей жизни, сначала бывают молодыми людьми, подающими о себе большие надежды, и потом, если вовремя не выедут из Москвы, делаются москвичача-

ми и тогда уже перестают подавать о себе какие-нибудь надежды, как люди, для которых прошла пора обещать, а пора исполнять еще не наступила. Даже и молодые люди, «подающие о себе большие надежды», в Москве имеют тот общий недостаток, что часто смешивают между собою самые различные и противоположные понятия, как-то: стихотворство с делом, фантазии праздного ума с мышлением. Многим из них (исключения редки) стоит сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорию или фантазию о чем бы то ни было, — и они уже твердо решаются видеть оправдание этой теории или этой фантазии в самой действительности, — и чем более действительность противоречит их любимой мечте, тем упрямее убеждены они в ее безусловном тождестве с действительностью. Отсюда игра словами, которые принимаются за дела, игра в понятия, которые считаются фактами. Все это очень невинно, но оттого не меньше смешно. Что бы ни делали в жизни молодые люди, оставляющие Москву для Петербурга, — они делают; москвичи же ограничиваются только беседами и спорами о том, что должно делать, беседами и спорами, часто очень умными, но всегда решительно бесплодными. Страсть рассуждать и спорить есть живая сторона москвичей; но дела из этих рассуждений и споров у них не выходит. Нигде нет столько мыслителей, поэтов, талантов, даже гениев, особенно «высших натур», как в Москве; но все они делаются более или менее известными вне Москвы только тогда, как переедут в Петербург; тут они, волею или неволею, попадают в состав той толпы, которую всегда бранили, и делаются простыми смертными, или действительно находят какое бы то ни было поприще своим способностям, часто более или менее замечательным, если и не гениальным. Нигде столько не говорят о литературе, как в Москве, и между тем именно в Москве-то и нет никакой литературной деятельности, по крайней мере теперь. Если там появится журнал, то не ищите в нем ничего, кроме напыщенных толков о мистическом значении Москвы, опирающихся на царь-пушку и большим колоколе, как будто город Петра Великого стоит вне России и как будто исполин на Исаакиевской площади не есть величайшая историческая святыня русского народа; не ищите ничего, кроме множества посредственных стихотворений к деве, к луне, к Ивану Великому, Сухаревой башне, а иногда — поверят ли? — к пенному вину, будто бы источнику всего великого в русской народности; плохих повестей, запоздалых суждений о литературе, исполненных враждою к Западу и прямыми и косвенными нападками на безнравственность людей, не принадлежащих к приходу этого журнала и не удивляющихся гениаль-

ности его сотрудников. Если выйдет брошюрка — это опять или не совсем образованные выходки против будто бы гниющего Запада, или какие-нибудь детские фантазии с самонадеянными притязаниями на открытие глубоких истин, вроде тех, что Гоголь — не шутя наш Гомер, а «Мертвые души» — единственный после «Илиады» тип истинного эпоса¹².

Разумеется, мы говорим здесь о слабых сторонах, не отрицая возможности прекраснейших исключений из них. Везде есть свое хорошее и, следовательно, свое слабое или недостаточное. Петербург и Москва — две стороны или, лучше сказать, две односторонности, которые могут со временем образовать своим слиянием прекрасное и гармоническое целое, привив друг другу то, что в них есть лучшее. Время это близко: железная дорога деятельно делается...

Обратимся к Петербургу.

Низший слой народонаселения, собственно простой народ, везде одинаков. Впрочем, петербургский простой народ несколько разнится от московского: кроме полугара и чая, он любит еще и кофе и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный пол петербургского простонародья, в лице кухарок и разного рода служанок, чай и водку отнюдь не считает необходимостью, а без кофею решительно не может жить; подгородные крестьянки Петербурга забыли уже национальную русскую пляску для французской кадрили, которую танцуют под звуки гармоники, ими самими извлекаемые: влияние лукавого Запада, рассчитанное следствие его адских козней! Петербургские швейки и вообще все простые женщины, усвоившие себе европейский костюм, предпочитают шляпки чепцам, тогда как в Москве наоборот, и вообще одеваются с большим вкусом против московских женщин даже не одного с ними сословия. То же должно сказать и о мужчинах: к какому сословию принадлежит иной служитель или мастеровой, это можно узнать только по его манерам, но не всегда по его платью. Это опять влияние того же лукавого Запада! Далее, в нашей книге благосклонный читатель со временем найдет описание так называемых «лакейских бабов», о которых в Москве люди этого сословия еще и не мечтали. Говоря о Москве, мы нарочно распространились о купеческом и мещанском сословиях, как о самых характеристических ее принадлежностях. Без всякого сомнения, мещане, вроде тех, которых так удачно представляет на сцене Александрийского театра г. Григорьев 2-й, есть и в Петербурге и притом еще в довольно количестве; но здесь они как будто не у себя дома, как будто в гостях, как будто колонисты или заезжие иностранцы. Петер-

бургский немец более их туземец петербургский. На улицах Петербурга они попадаются гораздо реже, чем в Москве; их надо искать на Щукином, в овощных лавках, мясных рядах и всякого рода маленьких лавочках, которые рассыпаны там и сям по Петербургу. Мещане — сидельцы и приказчики в лавках, находящихся на более видных улицах Петербурга, как-то цивилизованнее своих московских собратьев. Вообще же, все они так перетасованы в петербургском народонаселении, что не бросаются в глаза прежде всего, как в Москве; скажем более: в Петербурге они как-то совсем незаметны. И вот почему мы думаем, что г. Григорьев 2-й не имел бы такого успеха на московской сцене, каким пользуется он на петербургской: представляемый им тип, конечно, — не невидаль в Петербурге, но в то же время он — и не такое обыкновенное явление, которое своим резким контрастом с нравами преобладающего сословия в Петербурге могло бы не возбуждать громкого и веселого смеха на свой счет. Что же касается до петербургского купечества, — оно резко отличается от московского. Купцов с бородами, особенно богатых, в Петербурге очень мало, и они кажутся решительными колонистами в этом оевропеившемся городе; они даже выбрали особенные улицы своим исключительным местом жительства: это — Троицкий переулок, улицы, сопредельные Пяти углам, и около старообрядческой церкви. В Петербурге множество купцов из немцев, даже англичан, и потому большая часть даже русских купцов смотрят не купчинами, а негоциантами и их не отличить от сплошной массы, составляющей петербургское среднее сословие. Наконец, мы дошли до главного (по его многочисленности и общности его физиономии) «петербургского сословия». Известно, что ни в каком городе в мире нет столько молодых, пожилых и даже старых бездомных людей, как в Петербурге, и нигде оседлые и семейные так не похожи на бездомных, как в Петербурге. В этом отношении Петербург — антипод Москвы. Это резкое различие объясняется отношениями, в которых оба города находятся в России. Петербург — центр правительства, город по преимуществу административный, бюрократический и официальный. Едва ли не целая треть его народонаселения состоит из военных, и число штатских чиновников едва ли еще не превышает собою числа военных офицеров. В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на службу. В Москве вы часто можете слышать вопрос: «Чем вы занимаетесь?» В Петербурге этот вопрос решительно заменен вопросом: «Где вы служите?» Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Москве «барин», «барыня» и т. д. Чиновник — это туземец, истый граж-

данин Петербурга. Если к вам пришлют лакея, мальчика, девочку хоть пяти лет, каждый из этих посланных, отыскивая в доме вашу квартиру, будет спрашивать у дворника или у самого вас: «Здесь ли живет *чиновник* такой-то?» — хотя бы вы не имели никакого чина и нигде не служили и никогда не намеревались служить. Такой уж петербургский «норов»! Петербургский житель вечно болен лихорадкою деятельности; часто он в сущности делает *ничего*, в отличие от москвича, который *ничего* не делает, но «ничего» петербургского жителя для него самого всегда есть «нечто»: по крайней мере, он всегда знает, из чего хлопочет. Москвичи, Бог их знает, как нашли тайну все на в свете делать так, как в Петербурге отдыхают или ничего не делают. В самом деле, даже визит, прогулка, обед — все это петербуржец исправляет с озабоченным видом, как будто боясь опоздать или потерять дорогое время, и на все это решается он не всегда без цели и без расчета. В Москве даже солидные люди молчат только тогда, когда спят, а юноши, особенно «подающие о себе большие надежды», говорят даже и во сне, а потом даже иногда печатают, если им случится сказать во сне что-нибудь хорошее, — чем и должно объяснять некоторые литературные явления в Москве. Петербуржец, если он человек солидный, скуп на слова, если они не ведут ни к какой положительной цели. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, приветливо; москвич всегда рад заговорить и заспорить с вами о чем угодно, и в разговоре москвич откровенен. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно; петербуржец всегда вежлив, часто даже любезен, но как-то холодно и осторожно, если разговорится, то о предметах самых обыкновенных; серьезно он говорит только о службе, а спорить и рассуждать ни о чем не любит. По лицу москвича видно, что он доволен людьми и миром; по лицу петербуржца видно, что он доволен самим собою, если, разумеется, дела его идут хорошо. Отсюда проистекает его тонкая наблюдательность; от этого беспрестанно вспыхивает его тонкая ирония: он сейчас заметит, если ваши сапоги не хорошо вычищены или у ваших панталон оборвалась штрипка, а у жилета висит готовая оборваться пуговка, заметит — и улыбнется лукаво, самодовольно... В этой улыбке, впрочем, и состоит вся его ирония. Москвич снисходителен ко всякому туалету и незамечателен вообще во всем, что касается до наружности. Прежде всего он требует, чтоб вы были — или добрый малый, или человек с душою и сердцем... При первой же встрече он с вами заспорит и только тогда начнет иронически улыбаться, когда увидит, что ваши мнения не сходятся с мнениями кружка, в котором он ораторствует или в ко-

тором он слушает, как другие ораторствуют, и который он непременно считает за литературную или философскую «партию». Вообще всякий москвич, к какому бы званию ни принадлежал он, вполне доволен жизнью, потому что доволен Москвою и по-своему умеет наслаждаться жизнью, потому что по-своему он живет широко, раздольно, нараспашку. В чем заключается его наслаждение жизнью — это другой вопрос. Умные люди давно уже согласились между собою, что крепкий сон, сильный аппетит, здоровый желудок, внушающие уважение размеры брюшных полостей, полное и румяное лицо и, наконец, завидная способность быть всегда в добром расположении духа суть самое прочное основание истинного счастья в сем подлунном мире. Москвичи, как умные люди, вполне соглашаясь с этим, думают еще, что чем менее человек о чем-нибудь заботится серьезно, чем менее что-нибудь делает и чем более обо всем говорит, тем он счастливее. И едва ли они не правы в этом отношении, счастливые мудрецы! Зато один вид москвича возбуждает в вас аппетит и охоту говорить много, горячо, с убеждением, но решительно без всякой цели и без всякого результата! Не такое действие производит на душу наблюдателя вид петербургского жителя. Он редко бывает румян, часто бывает бледен, но всего чаще его лицо отзывается геморроидальным колоритом, свойственным петербургскому небу; и на этом лице почти всегда видна бывает забота, что-то беспокойное, тревожное и вместе с этим какое-то довольство самим собою, что-то похожее на непобедимое убеждение в собственном достоинстве. Петербургский житель никогда не ложится спать ранее двух часов ночи, а иногда и совсем не ложится; но это не мешает ему в девять часов утра сидеть уже за делом или быть в департаменте. После обеда он непременно в театре, на вечере, на бале, в концерте, в маскараде, за картами, на гулянье, смотря по времени года. Он успевает везде и как работает, так и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, как будто боясь, что у него не хватит времени. Москвич — предобрый человек, доверчив, разговорчив и особенно наклонен к дружбе. Петербуржец, напротив, не говорлив, на других смотрит с недоверчивостию, и с чувством собственного достоинства: ему как будто все кажется, что он или занят деловыми бумагами, или играет в преферанс, а известно, что важные занятия требуют внимания и молчаливости. Петербуржец резко отличается от москвича даже в способе наслаждаться: в столе и в винах он ищет утонченного гастрономического изящества, а не излишества, не разливанного моря. В обществе он решится скорее скучать, нежели, предавшись обаянию живого разговора,

манкировать перед чинностью и церемонностью, в которых он привык видеть приличие и хороший тон. Исключение остается за холостыми пирушками: русский человек *кутит* одинаково во всех концах России, и в его *кутеже* всегда равно проглядывает какое-то степное раздолье, напоминающее древненовгородские нравы.

В Москве нет чиновников. Порядочные люди в Москве, к чести их, вне места своей службы, умеют быть просто людьми, так что и не догадаешься, что они служат. Низший класс бюрократии там слывет еще под именем «приказных» и мало заметен, разумеется, для тех, кто не имеет до них дела, и зато, разумеется, тем заметнее для тех, кому есть до них нужда. Военных в Москве мало; притом многие из них являются туда на время, в отпуск. Словом, в Москве почти не заметно ничего официального, и петербургский чиновник в Москве есть такое же странное и удивительное явление, как московский мыслитель в Петербурге. Хотя москвич вообще оригинальнее и как будто самобытнее петербуржца, однако, тем не менее, он очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии! Петербург в этом отношении пробный камень человека: кто, живя в нем, не увлекся водоворотом призрачной жизни, умел сберечь душу и сердце не на счет здравого смысла, сохранить свое человеческое достоинство, не предаваясь донкихотству, — тому смело можете вы протянуть руку как человеку... Петербург имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые дорогие убеждения, но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнью и решительным незнанием действительности, — и вы остаетесь, может быть, с тяжелой грустью, но в этой грусти так много святого, человеческого... Что мечты! Самые обольстительные из них не стоят в глазах *дельного* (в разумном значении этого слова) человека самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека есть истина и притом плодотворная в будущем...

Для дополнения нашей картины выпишем несколько строк о Москве и Петербурге из одной старой статьи, которая так хороша, что в ней многое осталось новым и по прошествии семи лет *.

«Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинается печь французские хлебы, которые назавтра все съест

* Современник. 1837. Т. VI. С. 403.

разноплеменный народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва — женского рода, Петербург — мужеского. В Москве все невесты, в Петербурге — все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды, зато Москва требует, если уж пошло на моду, — чтоб по всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее, если отвороты фрака велики, то у ней, как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане, она не любит середины. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу и большею частию на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или в «должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымается с постели раньше второго часа; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день, как ни в чем не бывало, в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним ухабам сбывать и покупать, в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая: она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца смотреть не хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложил на лавочки и магазины и ловит мелких покупателей; Москва говорит: “Коли нужно покупщику, сыщет”. Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с “ренским погребом” и ставит извозчицью биржу в самые двери вашего дома; Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь. Петербург продает галстухи и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна России, для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фраков без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее неловкостию и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошед-

шие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадетя в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии»¹³.

Мы выпустили несколько строк из этого отрывка, потому что они уже устарели и без комментария не годятся. Кроме этого, нельзя оставить без замечания фразы: «Москва нужна России; для Петербурга нужна Россия». Эта фраза более остроумна, чем справедлива. Петербург так же нужен России, как и Москва, а Россия так же нужна для Москвы, как и для Петербурга. Нельзя отнять важного жизненного значения у Москвы, хотя и нельзя еще сказать, в чем именно оно состоит. Значение самого Петербурга яснее пока *a priori*, чем *a posteriori* *. Это оттого, что мы все еще находимся в настоящем моменте нашей истории; наше прошедшее так еще невелико, что по нем мы можем только догадываться о будущем, а не говорить о нем утвердительно. Мы все еще в переходном положении. Поэтому мудро схватить верно и определенно характеристику обоих городов. Говоря о том, что они теперь, все надо думать, чем они могут сделаться в будущем. Может быть, назначение Москвы состоит в удержании национального начала (сущности которого, как сущности многих вещей мира сего, пока нет возможности определить) и в противоборстве иноземному влиянию, которое могло бы оставаться решительно внешним, а потому и бесплодным, если б не встречало на своем пути национального элемента и не боролось с ним. Все живое есть результат борьбы; все, что является и утверждается без борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падкость Москвы до новых мнений или, пожалуй, и до новых идей, она, моя матушка, до сих пор живет все по-старому и не тужит. С этими идеями она обращается как-то по-немецки: идеи у ней сами по себе, а жизнь сама по себе. Ясно, что в ней есть свое собственное *консервативное* начало, которое только уступает, и то понемногу и медленно, новизне, но не покоряется ей. И представитель этой новизны есть Петербург, и в этом его великое значение для России. Петербург не заносится идеями; он человек положительный и рассудительный. Своего байкового сюртука он никогда не назовет римскою тогою; он лучше будет играть в преферанс, нежели хлопотать о невозможном; его не удивишь ни теориями, ни умозрениями, а мечты он терпеть не может; стоять на болоте ему не совсем приятно, но все-таки лучше, чем держаться без всяких

* до рассмотрения, чем после (лат.). — *Ред.*

подпор на воздухе. Его закон — нудящая сила обстоятельств, и он готов сделаться чем угодно, если это угодно будет обстоятельствам. Поэтому его мудрено определить на основании того, чем он был и что он есть. Ни один петербуржец не лезет в гении и не мечтает переделывать действительности: он слишком хорошо ее знает, чтоб не смиряться перед ее силою. Гении рождаются сотнями только там, где, вследствие обстоятельств, царствует полное неведение того, что называется действительностию, где каждый собою меряет весь мир и мечты своей праздношатающей фантазии принимает за несомненные факты истории и современной действительности. В Петербурге каждый является на своем месте и самим собою, потому что, если бы в нем кто-нибудь объявил притязания быть лучше и выше других, ему сказали бы: «А ну-те, попробуйте!» Словом, Петербург не верит, а требует дела. В нем каждый стремится к своей цели, и, какова бы ни была его цель, петербуржец ее достигает. Это имеет свою пользу и притом большую: какова бы ни была деятельность, но привычка и приобретаемое через нее умение действовать — великое дело. Кто не сидел сложа руки и тогда, как нечего было делать, тот сумеет действовать, когда настанет для этого время. Город — не то, что человек, для него и сто лет не бог знает какое время. Короче: мы думаем, что Петербургу назначено всегда трудиться и делать, так же как Москве готовить делателей. Это видно и теперь: сколько молодых людей, окончивших в Московском университете курс наук, приезжает в Петербург на службу! Вследствие влияния Московского университета и вследствие тихого, *провинциального* положения Москвы в ней, говоря вообще, читают не больше, чем в Петербурге, но в деле вопросов науки, искусства, литературы москвичи обнаруживают больше простора, знания, вкуса, такта, образованности, чем большинство петербургской читающей и рассуждающей публики. Вследствие тех же самых обстоятельств в Москве больше, чем в Петербурге, молодых людей, способных к делу; но делают что-нибудь они опять-таки только в Петербурге, а в Москве только говорят о том, что бы и как бы они делали, если бы стали что-нибудь делать.

